



Берлин

СТАЛЬНОЕ БРАТСТВО

ДОРОГА НА БЕРЛИН

ДЕНИС ГРОМОВ

Стальное братство

Денис Громов

**Стальное братство.
Дорога на Берлин.**

«Тайниковский»

2026

Громов Д.

Стальное братство. Дорога на Берлин. / Д. Громов —
«Тайниковский», 2026 — (Стальное братство)

Осенью сорок первого он очнулся в лесу под Вязьмой без единого воспоминания и с чужой фотографией в военном билете. За три года собрал себя заново — из чужих рассказов и из тетради, куда записывал тех, кто не вышел. Теперь у майора Родина батальон, двадцать три правила, купленных чужими жизнями, и дорога на запад: болота Полесья, днепровский лёд, где восемь сэкономленных минут стоят человека, «Багратион», Висла, Одер. Но у этой дороги есть второе дно. У его механика-водителя жена и двое детей угнаны весной сорок третьего. Списков нет, деревни нет — есть номер дела, нацарапанный гвоздём на крышке жестяной коробки, и строчка в казённой бумаге: «в западном направлении». Значит, путь до конца войны и путь к ним — одна дорога. Дойдут не все. А в сентябре пятьдесят восьмого те, кто дойдёт, встретятся в Крыму: потому что один из них ещё в сорок первом сказал, что доедет, а другой ответил — «Крым дождётся». Заключительная книга трилогии.

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	16
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Денис Громов

Стальное братство. Дорога на Берлин.

Глава 1

Болото не замёрзло.

Родин узнал об этом четвёртого января, стоя на краю болота с полковым инженером, и узнавая собственной ногой, а не из доклада, в котором было написано — «сошёл с наезженной колеи на белое, ровное, присыпанное снегом поле и провалился по колено в чёрную воду».

Инженер даже не обернулся.

— Тут везде так, — произнес он. — Сверху корка в полтора сантиметра, под ней вода, под водой торф. Она держит человека, если он идёт быстро и не останавливается.

— А если останавливается?

— А если останавливается, то не держит.

Зима сорок третьего — сорок четвёртого года в Полесье была самая тёплая, какую помнили местные старики.

За декабрь мороз простоял в общей сложности одиннадцать суток, и все одиннадцать — не ниже минус восьми. Этого хватило, чтобы схватить лужи и придать всей местности вид твёрдой земли, и не хватило, чтобы промёрзло хоть что-нибудь всерьёз.

Болота стояли живые под коркой.

Для танкового батальона это означало простую вещь: на всей полосе шириной в двадцать восемь километров, отведённой дивизии, тридцатьчетвёрка могла пройти по четырём дорогам и нигде больше.

Четыре дороги. Немец знал это не хуже.

Родин вернулся к машинам, вытряхнул из сапога воду, переобулся и полтора часа сидел над картой.

Он выучился к сорок четвёртому году читать карту так, как читал когда-то чертёж: по тому, чего на ней нет, а не по нарисованному.

На этой карте не было почти ничего.

Синие штрихи болот шли сплошняком от левой рамки до правой. Между ними — редкие островки твёрдого с деревнями по три-четыре десятка дворов, и от островка к островку тянулись ниточки дорог, из которых одна была обозначена как улучшенная грунтовая, а остальные — просто грунтовые, что в Полесье означало летом колею, а зимой то, что под коркой.

Река Ипа. Река Тремля. Речки без названий, каналы, канавы, старые торфоразработки.

И на всё это — четыре прохода, каждый из которых немец держал узлом.

— Товарищ майор, — произнес начальник штаба. — А если по льду рек?

— Лёд восемь сантиметров, — ответил Родин. — Нам надо тридцать пять.

Он сложил карту.

Наступление было назначено на восьмое января, и в ночь на шестое батальон вышел на исходные — двенадцать километров по единственной дороге, в темноте, с интервалом в сто метров, потому что колонна на такой дороге не имеет ни одного пути в сторону.

Родин шёл в середине и всю дорогу думал об одном.

Если немец накроет эту колонну с воздуха или артиллерией, съехать некуда. Головная машина, встав, запирает всех. Подбитая машина не сталкивается с дороги, потому что за обочиной болото. Одна пробка и батальон стоит, пока её не растащат. Растаскивать под огнём — это тридцать-сорок минут.

Он передал по радиации то, что передавал в таких случаях всегда: дистанция сто, не сокращать, при остановке головной остальным не подтягиваться.

Дистанцию держали.

Обошлось.

Батальон Родина в январе сорок четвёртого имел двенадцать машин и пятьдесят три человека.

Из тех, кто был с ним под Курском в апреле сорок третьего, оставалось семеро: Ковальчук, Антипов, Сёмин, Пилипенко и трое по машинам. Остальные пришли осенью или в декабре, и половину из них Родин знал ещё плохо.

Он завёл себе новый порядок, до которого дошёл в ноябре: раз в неделю, по субботам, он садился со списком личного состава и заставлял себя вспомнить про каждого хоть что-нибудь, кроме фамилии.

Не помнил — шёл и разговаривал.

Это отнимало часа три в неделю и было, по его расчёту, самой полезной работой из всех, какие он делал как комбат.

Тонкая тетрадь лежала в нагрудном кармане и была исписана на три четверти.

Сто девятнадцать строчек.

Он не завёл вторую и решил, что не заведёт: когда кончится эта, будет видно.

Витька пришёл к нему второго января, вечером, и стоял в дверях избы, пока Родин не поднял голову.

— Товарищ майор. Разрешите обратиться.

— Обращайся.

— Прошусь в экипаж.

Родин отложил карандаш.

Витьке было теперь семнадцать. Он пришёл в роту под Кромами, летом, худой стриженный мальчишка в чужой гимнастёрке без петлиц, сирота из-под Тросны, которого Пилипенко подобрал вместе с трофейной телегой. За полгода он вырос на голову, раздался в плечах, научился ругаться так, что старшина делал ему замечания, и стал в хозчасти незаменим.

В экипаж его не пускали, и он об этом просил в четвёртый раз.

— Кем?

— Заряжающим. Я подниму, товарищ майор, я семьдесят шесть килограмм подымаю.

— Снаряд весит шесть с половиной. Дело не в том, чтобы поднять, а в том, чтобы поднять четыре тысячи раз и в темноте.

— Я научусь.

Родин посмотрел на него.

Он мог отказать в пятый раз и имел на это все основания: мальчишке семнадцать, он не призван, числится в батальоне неизвестно кем и по документам его как бы нет. В хозчасти он в безопасности настолько, насколько это слово вообще применимо.

Он мог и согласиться, и это тоже было объяснимо: заряжающих не хватало. Парень был крепкий, толковый и рвался.

— Сядь, — сказал Родин.

Витька сел на край лавки.

— Я тебе скажу, как есть, и ты подумаешь неделю. Экипаж — четыре человека в железном ящике. Если ящик подожгут, выходят те, кто успел. Заряжающий сидит справа от пушки, и у него из четверых самое неудобное место: командирский люк над ним, а свой он открывает через казённый.

— Я знаю.

— Ты не знаешь. Ты видел снаружи, — Родин помолчал. — За прошлый год у меня в батальоне сгорело девятнадцать машин. Из семидесяти шести человек вышло сорок один. Считай сам.

Витька считал молча секунд десять.

— Пятьдесят четыре процента, — сказал он.

— Вот. А теперь иди и думай неделю.

Он ушёл, а Родин остался.

Через неделю тот пришёл снова и сказал, что подумал. Родин подписал ему бумаги десятого января и в тот же день отдал Сёмину — учить.

Сёмин учил его четыре недели и сдал в экипаж второй роты в феврале, и парень провёл до конца войны и был два раза ранен.

Но это уже к другому.

Полесье Родин увидел впервые в конце декабря и первую неделю не мог понять, где он находится.

Это была земля без формы.

Ни высот, ни оврагов, ни складок, ни господствующих точек — ничего, к чему привыкает глаз человека, три года выбиравшего позиции. Плоское, ровное, бесконечное и поросшее чахлым сосняком по гривам и ольхой по низинам, с чёрными пятнами торфяных выработок и с белыми лентами замёрзших канав.

Ориентиров не было.

Он пробовал делать то, что делал всегда, — выносить приметные предметы и мерить от них дистанции и обнаружил, что мерить не от чего: единственные приметные предметы в Полесье это деревни, а деревни стоят раз в семь-восемь километров.

На третий день он завёл себе новую привычку: считать по вешкам.

Вешки ставили сапёры вдоль всех проходимых полос — обыкновенные жерди с пучком соломы наверху, — и Родин заставил командиров рот нумеровать их и наносить на схему, и к середине января батальон работал по вешкам как по ориентирам, называя их номерами.

Это было неудобно и ненадёжно, но других вариантов не было.

Второе, чего он не ожидал, — местные.

Полесские деревни за два с половиной года оккупации сохранились лучше брянских и хуже орловских, и объяснялось это просто: сюда было трудно добраться. Каратели ходили сюда трижды, и каждый раз в глубину не более двадцати километров от дорог; всё, что стояло дальше в болотах, немец не трогал, потому что не мог.

Люди в этих деревнях жили странной жизнью.

Они не видели немца месяцами. Они не видели и наших. У них были свои старосты, назначенные немцами и работавшие на партизан, и партизанские отряды, стоявшие в трёх километрах, и через одного в семье кто-нибудь был в лесу.

Одна старуха в деревне на реке Ипе сказала Родину фразу, которую он записал:

— Мы, сынок, тут два года сами по себе жили. Кто придёт — тому и кланяемся. А ушёл — и слава богу.

Она сказала это без всякого вызова, объясняя, и Родин на неё не обиделся.

Наступление началось восьмого января в семь часов, после сорокаминутной артподготовки.

Оно началось не там, где Родин ожидал.

Главный удар дивизия наносила по болоту, а не по дорогам.

Это придумал не он, и когда ему изложили замысел, он сначала решил, что чего-то не понял. Стрелковый полк должен был пройти двенадцать километров по болоту, которое не держит, выйти в тыл узлу обороны и ударить с той стороны, откуда его никто не ждёт.

Пехота прошла.

Она прошла, потому что человек по такому болоту идёт: быстро, не останавливаясь, по проложенным заранее вешкам, с жердями в руках. Она несла на себе всё, включая разобранные миномёты и боеприпасы в вещмешках. Она шла двое суток, ночевала на островках, разводить огонь было нельзя, и к утру восьмого вышла туда, куда должна была выйти.

Из тысячи ста человек до места дошли восемьсот с чем-то.

Остальные — не убитые. Провалившиеся, обмороженные, отставшие, вернувшиеся.

Батальон Родина в это время работал по дороге и работал именно для того, чтобы немец смотрел на дорогу.

Он изображал главный удар с шести утра до полудня.

Изображать удар — работа неблагодарная и опасная ровно настолько же, насколько настоящая атака. Немец не знает, что ты изображаешь, и отвечает всерьёз.

Батальон вышел на дорогу двумя ротами, встал в километре от узла и шесть часов вёл огонь с места, меняя позиции — насколько на такой дороге можно менять позиции. Немец работал по нему артиллерией и один раз, около десяти, попробовал контратаковать четырьмя машинами.

Контратака захлебнулась на насыпи.

Здесь Родин впервые применил то, до чего додумался на плацдарме у Сожа и что стало потом его любимым приёмом: он не стал встречать их фронтально. Он отвёл первую роту на четыреста метров назад, за поворот дороги, и оставил на прежнем месте одну машину с задачей стрелять и отходить.

Немцы пошли за ней.

Они прошли поворот и получили с восьмидесяти метров в борт от трёх машин, стоявших за насыпью.

Две сгорели сразу. Две ушли задним ходом.

За шесть часов батальон потерял одну машину и пятерых, из них двоих — от одного осколка, накрывшего расчёт, который менял гусеницу.

Он посчитал это дёшево и сказал об этом вслух только Антипову.

Узел взяли к вечеру восьмого, когда стрелковый полк ударил с тыла.

Немец из него вышел не весь: часть гарнизона отошла на запад по дороге, часть пыталась уйти болотом и не ушла.

Родин прошёл этот узел на другой день.

Он был устроен обыкновенно: деревня в тридцать один двор на песчаном островке посреди трясины, вкруговую окопы, четыре блиндажа, два орудия, миномётная позиция. Всё это стояло здесь с осени, и всё было обжито до последней мелочи.

В одном блиндаже на стене висел настенный календарь, немецкий, на сорок четвёртый год, привезённый, судя по всему, недавно и повешенный аккуратно и на гвоздь.

На нём было зачёркнуто восемь дней.

Родин постоял перед ним.

Он думал о том, что человек, который вешает в блиндаже календарь на новый год и начинает зачёркивать дни, рассчитывает прожить здесь ещё какое-то время. И что рассчитал он не на восемь дней.

Деревни не было.

Тридцать один двор немец сжёг ещё в ноябре, при оборудовании узла, — сжёг по-хозяйски, вне всякого боя, потому что дома мешали обстрелу и потому что брёвна пошли на блин-

дажи. В блиндажных накатах Родин видел венцы с пазами и один резной наличник, положенный плашмя поверх наката.

Жителей выселили в соседнюю деревню.

Их было сто шестнадцать человек. К январю осталось восемьдесят три.

Он записал это в клеёнчатую тетрадь и не стал уточнять, отчего убывло тридцать три, потому что уточнять было незачем: зима, чужая изба на четыре семьи, отсутствие хлеба.

Ночью девятого Родин пошёл смотреть болото, по которому прошёл стрелковый полк.

Он пошёл без всякой служебной надобности, взяв с собой одного сапёра, и они прошли по вешкам километра полтора.

Идти надо было именно так, как сказал полковой инженер: быстро и не останавливаясь.

Под ногами корка проседала, и с каждым шагом из-под неё выступала чёрная вода, и след, оставленный позади, за минуту наполнялся. Жердь, воткнутая рядом с тропой, ушла на два с половиной метра и не встала на дно.

На тропе через каждые полсотни шагов лежали брошенные вещи.

Вещмешок. Каска. Пустой патронный ящик, послуживший, судя по всему, вместо жерди. Скатка, брошенная так, как бросают, когда уже всё равно.

В одном месте, на левой стороне тропы, была видна воронка в корке — метра полтора в поперечнике, с обломанными краями, уже подёрнутая свежим ледком.

Сапёр посветил и сказал:

— Тут провалился.

— Вытащили?

— Не знаю, товарищ майор. Тут кого вытащили, а кого нет.

Они постояли и пошли обратно.

Родин думал о том, что пехотный полк прошёл двенадцать километров такого болота ночью, с оружием и с разобранными миномётами, и что триста человек до места не дошли, и что в донесении это будет одна строчка про выход в тыл противника.

А ещё он думал о другом.

Три года он воевал с ощущением, которого стыдился и от которого не мог избавиться: что у танкистов война тяжелее. Это ощущение раз в полгода получало по голове — под Понырями от пехотного старшины у костра из шпал, в сентябре от партизана Голенищева, теперь здесь.

Он к сорок четвёртому году он избавился от этого ощущения.

Осталось то, что вернее: у каждого своя война, и каждому кажется, что его. И это не глупость, а способ выжить, потому что человек, который постоянно думает, что другому хуже, воевать не может.

Дальше пошли болота.

Наступление в Полесье в январе сорок четвёртого запомнилось Родину не боями. Их было мало, и они были мелкие. Запомнилось другое.

Первое — гати.

За январь батальон построил их одиннадцать километров. Строили всем составом, вместе с сапёрами и приданной стрелковой ротой, и строили круглосуточно, посменно, потому что днём работать было нельзя из-за авиации, а ночью — из-за темноты.

В результате работали и днем и ночью.

Лес возили за восемь километров. Сосна в этих местах была плохая, тонкая, болотная, и на километр гати её уходило очень много.

Родин к концу января знал технологию наизусть и мог руководить работой сам, без сапёров.

Он поймал себя на этом в двадцатых числах и, сделав это, впервые за войну испытал что-то похожее на профессиональное удовольствие от нетанкового дела.

Второе — вода.

Вода была везде: в сапогах, в землянках, под настилами, в моторных отделениях. Машины ходили по гатям, залитым водой на ладонь, и вода попадала внутрь через всё, через что могла попасть.

За январь в батальоне вышли из строя по этой причине четыре двигателя и семь стартеров.

Ковальчук воевал с водой лично.

Он придумал закрывать жалюзи брезентом на время движения по залитым участкам, снимая его на стоянках; придумал промазывать смотровые щели солидолом; придумал сушить обмотки стартеров на печках, и сушил их сам, и три из семи вернул в строй.

Он делал всё это без приказа и без отдыха, и Родин в конце января приказал ему спать шесть часов в сутки, и это был единственный приказ за войну, который Ковальчук выполнил не полностью.

Третье — потери от небоевых причин.

За январь батальон потерял в боях четверых. За тот же январь через санчасть прошло девятнадцать человек: воспаление лёгких, обморожения второй степени, фурункулёз, и один — с ревматизмом такой силы, что его отправили в тыл насовсем.

Родин к концу месяца перестал считать простуду небоевой потерей и стал писать в донесениях цифры вместе.

За это его один раз поправили из бригады, и он поправился в бумагах, но не поправил в голове.

Калинковичи и Мозырь взяли четырнадцатого января.

Батальон в этих городах не был: он работал южнее, на второстепенном направлении, и о взятии узнал по радио вечером.

Москва салютовала двадцатью залпами из двухсот двадцати четырёх орудий.

Слушали спокойно.

В батальоне к этому времени салюты воспринимались как сводка погоды — не потому, что перестали радоваться, а потому, что радость эта переместилась куда-то вглубь и наружу больше не выходила.

Вечером четырнадцатого Антипов пришёл к Родину со своей тетрадью.

Он вёл их теперь три: одну по роте, одну по боеприпасам и одну свою.

— Товарищ майор. Я тут посчитал.

— Что?

— За январь мы прошли двадцать шесть километров, — он сел. — В прошлом году, в июле-августе, мы шли по три километра в сутки.

— Полесье.

— Я понимаю, что Полесье. Я к другому, — Антипов открыл тетрадь. — Если считать по среднему за полгода, с августа, получается два и одна десятая километра в сутки. При таком темпе тысяча пятьдесят — это тысяча пятьсот суток.

Родин посмотрел на него.

— Четыре года, — сказал Антипов.

— Ты неправильно считаешь.

— Я считаю арифметически.

— Ты считаешь арифметически, а надо иначе, — Родин отодвинул карту. — Мы полгода шли через оборону, которую он готовил с осени. Он её больше готовить не будет — у него нет ни времени, ни людей. И темп будет рваный: месяц по восемьсот метров, а потом за две недели двести километров.

— Откуда вы знаете?

Родин помолчал.

Он знал это не из расчёта и не из опыта — его у него не было, потому что за всю войну он ни разу не видел настоящего прорыва в глубину. Он знал это по одному признаку, который заметил ещё осенью и который с тех пор только усилился.

Немец перестал контратаковать всерьёз.

До Гомеля он огрызался постоянно, ходил во фланг, выбивал темп. С декабря контратаки стали редкими, мелкими и осторожными, и в них было видно главное: он их проводит не чтобы отбить, а чтобы оторваться.

Человек, который дерётся, чтобы оторваться, дерётся последний раз на этом рубеже.

— Знаю, и всё, — ответил он. — Считай, но не показывай никому, — добавил Родин и Антипов кивнул и ушел.

Двадцатого января пришла почта, и в ней было три вещи.

Первая — письмо от матери, короткое, на полстраницы, написанное в конце декабря. Она писала, что зима стоит мягкая, что Зорька отелилась и что телушка хорошая; что дядя Пётр слёг с ногой, но уже встал; что от Варвары по-прежнему нет вестей про Митю.

В конце было приписано: «Алёша ты карточку получил? отпиши получил или нет а то я всё думаю».

Он получил её месяц назад и написал об этом сразу, и письмо, очевидно, ещё шло.

Вторая — извещение из отдела кадров бригады о том, что за бои под Гомелем майор Родин представлен к ордену.

Третья — казённый конверт на имя Ковальчука.

Второй за месяц.

Родин отдал его в тот же вечер и остался в избе, потому что первый он отдавал так же и потому что уходить было бы хуже.

Ковальчук вскрыл его тем же способом — ножом, вдоль края.

Это был ответ из областного военкомата, и он был короче первого.

Сообщалось, что сведениями о гражданке Ковальчук М. И. и её детях областной военный комиссариат не располагает; что учёт населения, угнанного в Германию, ведётся Чрезвычайной государственной комиссией и что запрос надлежит направлять туда; и что адрес комиссии прилагается.

Адрес прилагался. Он был напечатан внизу, отдельной строкой.

Ковальчук прочитал, сложил, посмотрел на этот адрес и сказал:

— Ну вот и адрес.

Он сказал это спокойно, и Родин понял, что за месяц человек проделал какую-то внутреннюю работу и вышел из неё в другом состоянии.

— Напишу сегодня, — сказал Ковальчук.

— Я подпишу.

— Не надо. Я сам напишу, от себя, — он убрал конверт. — Вы подписывали два раза, и оба раза мне отвечали, что списков нет. Может, если я сам напишу, оно вернее будет.

Логика в этом не была никакой, но Родин не стал спорить.

Он только сказал одно, и сказал потому, что за полгода видел, во что превращаются люди, которые ждут ответа на письмо.

— Ты его отправь и забудь. Не жди по вторникам. Придёт — придёт.

— Я и не жду, — спокойно ответил Ковальчук.

Разумеется он ждал и Родин это знал. Они оба это знали.

Почта нашла Сёмина двадцатого января, и нашла сразу вся.

Пилипенко принёс ему целую пачку: шесть конвертов, перевязанных бечёвкой, с надорванными углами и с переклеенными адресами, и на каждом сверху стояли карандашом два, а на двух и три перечёркнутых номера полевой почты.

Сёмин развязал бечёвку и разложил их на лавке.

Он разложил их как попало, потому что порядка не знал, и минуты три сидел над ними, пока не сообразил посмотреть на штемпели.

Самое старое было отправлено в марте сорок третьего.

Самое новое — в ноябре.

Родин посмотрел на конверты и понял, что произошло, — тут понимать было нечего, он такое видел уже раз двадцать.

За сорок третий год батальон трижды переформировывали, и трижды у него менялся номер полевой почты: после Понырей, после Карачева и в сентябре, когда бригаду переподчинили. Каждая смена номера означала, что письма, идущие на старый, ходят кругами по армейским почтовым узлам, пока какой-нибудь сортировщик не догадается или пока адрес не устаревает окончательно и конверт не уйдёт в мёртвую почту.

Шесть писем ходили кругами от восьми до одиннадцати месяцев.

Но это объясняло только половину.

Вторую половину Родин узнал в тот же вечер и узнал случайно, потому что Сёмин был не из тех, кто рассказывает о себе.

Он читал первое письмо у печки, по складам, водя пальцем по строчке и шевеля губами, и читал его час двадцать. В горнице к тому времени привыкли и ждали молча.

Потом он отложил его и сказал:

— Ответить бы.

— Так отвечай.

Сёмин помолчал.

— Я, товарищ майор, полдня на страницу трачу, — произнес он. — И выходит криво. У меня два класса, я в шестнадцатом году в церковноприходскую ходил, а с семнадцатого уже не до того было.

— Ты же читаешь.

— Читаю. Читать легче, — он посмотрел на свои руки. — Мне за меня Кудинов писал. Ротный писарь. Я ему рассказывал, а он писал, и почерк у него был красивый.

— И что Кудинов?

— Так убило его, — Сёмин сказал это ровно. — В феврале, под Жиздрой. Я с тех пор сам писал, раза три за год. Потом перестал.

— Почему перестал?

Сёмин подумал, как объяснить, и объяснил честно.

— Стыдно, — сказал он. — Она мне пишет складно, у неё сестра учительница, за неё сестра пишет. А я ей — как курица. Катя ведь читает вслух, ей одиннадцать. Она читает и видит, что папка писать не умеет.

Он собрал письма в стопку и завернул в тряпицу.

— Я лучше молчать буду, — сказал он. — Чем так.

Родин просидел над этим полночи.

Он знал этого человека много времени, если считать по меркам войны, разумеется. Он видел, как тот вслепую, на память, левой рукой находит нужный ряд в укладке; как он за неделю чинит будильник без стрелок, вытачивая их из консервной банки; как он кладёт печи, определяет по земле проходимость и по стене — сядет она или устоит. За всё это время Родин ни разу не подумал, что человек, умеющий всё это, не умеет написать письмо и что молчит он от стыда.

Утром он вызвал Витьку.

Тому было семнадцать, он окончил семь классов до войны и писал быстро и чисто, и с января ходил у Сёмина в учениках по заряданию.

— Умеешь писать под диктовку?

— Умею.

— Будешь писать за Сёмина. Он рассказывает — ты пишешь. Своего ничего не добавляй, пиши его словами, даже если криво.

Витька подумал.

— А если он не захочет?

— Захочет, — сказал Родин. — Ты ему скажи, что это я приказал. Ему так проще будет.

Тот так и сказал, и Сёмин так и понял, и с двадцать второго января в батальоне завёлся порядок: по воскресеньям, если стояли на месте, Сёмин с Витькой садились в углу, и Сёмин говорил, а Витька писал.

Выходило по две-три страницы за вечер вместо полутора за полдня.

Первое такое письмо Родин случайно услышал — вернее, услышал кусок, проходя мимо.

Сёмин диктовал:

— Пиши. Катюша дочка твой рисунок я получил ещё летом и ношу его в кармане возле сердца...

— Так и писать — возле сердца?

— Так и пиши. Я так сказал.

Он помолчал и добавил уже не для письма:

— Пиши, пиши. Она мне траки нарисовала. Все, по одному. Ей одиннадцать лет, она живого танка не видела, а траки нарисовала.

Витька писал.

В феврале Сёмин попросил Родину об отдельном.

— Товарищ майор. Вы бы мне написали.

— Что написать?

— Про молотилку, — он помялся. — Жена ещё в том письме пишет, весной сорок третьего: молотилка стоит, барабан лопнул, молотят цепями. Тысяча девятьсот сорок третий год, а они цепями. Вы же в них понимаете. Вы бы им написали, как чинить или где взять. Они бы в МТС отнесли, там прочитали бы и поняли.

Родин сел писать в тот же вечер.

Он писал два часа и исписал четыре страницы, и это были первые четыре страницы за три года, которые он написал как инженер.

Он расписал, что бывает с барабаном молотилки и почему: трещина по сварному шву у ступицы, обрыв бичей, разбитые подшипники. Расписал, что из этого чинится в любой кузнице, а что не чинится нигде. Начертил от руки эскиз узла с размерами и с выносными линиями, и цифры на нём поставил ровно, с малым наклоном, все одной высоты, и подчеркнул каждую снизу тонкой чертой.

В конце приписал: если барабан лопнул по шву у ступицы, варить бесполезно, надо ставить накладку с двух сторон на заклёпках, и указал какие.

Сёмин смотрел на эскиз минуты две.

— Красиво, — сказал он наконец.

— Ты пойми, я его не видел. Может, у вас другой конструкции.

— Наша, — сказал Сёмин уверенно. — Я ж вам говорил. У нас всё орловское.

Листы вложили в письмо, и оно вышло толстое, и Пилипенко потом ворчал, что за такое надо доплачивать.

Ответ пришёл в апреле и пришёл быстро — за два месяца, потому что номер полевой почты на этот раз не менялся.

Жена писала, что письмо в МТС отнесли, что там его читали трое и один переписал себе, и что барабан к севу обещали поставить.

И что почерк у Вани стал совсем хороший, прямо не узнать.

Сёмин прочитал эту строчку три раза и Витьке её не показал.

Наступление в Полесье выдохлось к концу января.

Дивизия встала на рубеже, который не могла перешагнуть по одной причине: впереди было болото шириной шесть километров, а за ним река, а мороза не предвиделось.

Батальон вывели во второй эшелон и поставили в деревню Заречье — двадцать шесть дворов, из них четырнадцать жилых.

Три недели они там стояли.

Ремонтировались. Занимались с молодыми. Мылись. Впервые с сорок первого года у Родина было три недели, в которые он мог спать по семь часов.

Он спал по пять, потому что за три недели написал больше бумаг, чем за весь предыдущий год.

Донесения по опыту зимних действий. Заявки. Представления к наградам, которых накопилось сорок два. Три письма родным погибших. Ответ той девочке из Кировской области, Вале Скворцовой, который они писали вчетвером и который Сёмин потом переписывал набело, потому что у него был самый крупный почерк.

И — в первый раз за войну — рапорт.

Он написал его в середине февраля и три дня не отправлял.

Рапорт был о переводе.

Не о повышении, не в академию, не на другой фронт. Он просил направить его в распоряжение управления бронетанковых и механизированных войск для работы по специальности — инженером.

Он написал в рапорте всё как есть: что до войны работал инженером-конструктором на орловском заводе сельскохозяйственного машиностроения; что имеет опыт эксплуатации и ремонта танков Т-34 в полевых условиях за три года; что готов работать в любой должности по технической части.

Он перечитал это три раза и не отправил.

Потом ещё раз перечитал и сжёг в печке.

Он не смог бы объяснить причину коротко.

Длинно она выглядела так: рапорт был написан правильно, желание было настоящее, и всё, что в нём сказано, было правдой. Он действительно хотел строить, а не жечь, и хотел этого с августа, с Орла, с того дня, когда Кузьмич сказал ему про завод и про то, что пускать некому.

Но в батальоне у него было пятьдесят три человека, из которых семерых он знал очень долго по меркам войны, и была тонкая тетрадь на сто девятнадцать строчек, и был Ковальчук, который писал в Чрезвычайную комиссию, и был Витька, которого он в январе подписал в экипаж.

Уйти сейчас означало отдать всё это тому, кто придёт.

Он бы и отдал, если бы не одно: он знал, как это выглядит изнутри — когда приходит новый и хороший, и всё правильно, но всё не так.

Он смотрел, как горит бумага, и думал, что напишет этот рапорт после войны, в тот же день, когда её объявят.

В феврале в батальон пришло пополнение — двадцать два человека и четыре машины и Родин впервые за войну увидел в строю то, чего раньше не видел.

Восемь человек из двадцати двух были из освобождённых областей.

Их призвали осенью сорок третьего в Орловской, Брянской и Гомельской областях — прямо в освобождённых деревнях, полевыми военкоматами и они пришли в армию, прожив два года под немцем.

Родин разговаривал с каждым отдельно и разговаривал долго.

Он спрашивал не по анкете. Анкету спрашивали до него.

Он спрашивал, как жили, что ели, кто в семье остался, есть ли куда возвращаться, и один из восьми, парень девятнадцати лет из-под Клинцов, ответил ему так, что Родин потом полдня ходил и думал.

— А я не знаю, товарищ майор, — сказал тот. — Я два года ждал, что придут наши. И вот пришли. А что дальше — я не думал.

— Как это не думал?

— Так. Я думал только до этого места.

Родин поставил его заряжающим во вторую роту.

Тот воевал прилично, был ранен в июне под Бобруйском и вернулся в батальон в сентябре.

Дошёл ли он — Родин потом не помнил, и это было одно из тех мест в его памяти, о которых он жалел отдельно.

Двадцать первого февраля батальон подняли по тревоге.

Приказ пришёл в четыре утра: сдать участок, совершить марш, к исходу двадцать четвёртого сосредоточиться в районе Рогачёва.

Сто девяносто километров на север.

Родин развернул карту и посмотрел, куда их ведут.

Рогачёв стоял на Днепре.

Он поводил по карте пальцем — вверх по течению, на север, где река уходила за верхний обрез листа, — и вспомнил, что Днепр он до сих пор видел один раз в жизни, осенью сорок первого, при выходе из окружения, и видел его тогда с восточного берега.

Теперь он подходил к нему с востока во второй раз.

За Днепром лежала вся Белоруссия.

Конец первой главы.

Глава 2

Днепр Родин увидел двадцать шестого февраля, в третьем часу ночи, но и-за темноты не смог его разглядеть.

Была река. Она угадывалась по тому, что кончился лес и началось пустое, ровное, чуть светлее общего мрака. А еще по тому, что оттуда тянуло другим воздухом — ни лесным, ни полевым, а тем особым, который бывает над водой даже подо льдом.

Ширина здесь была двести двадцать метров.

На восточном берегу, у самого схода, горели два фонаря «летучая мышь», прикрытые с трёх сторон досками, и при этих фонарях работали сапёры.

Они работали пятые сутки.

Лёд на Днепре в конце февраля сорок четвёртого стоял толщиной тридцать один сантиметр — это был средний замер по створу, и в нём было три места, где толщина падала до двадцати двух.

Тридцатьчетвёрка требует сорок.

Разницу набирали намораживанием.

Родин смотрел на эту работу час и за час понял её всю, потому что она была устроена как всякая хорошая инженерная работа: просто и очень нудно.

По створу шириной шесть метров вырубали во льду ряды лунок. Через лунки вода выходила на поверхность и растекалась, и на морозе схватывалась слоем в полтора-два сантиметра. Дальше лунки пробивали снова.

Один слой за ночь. При морозе ниже пятнадцати — два.

Поверх намороженного укладывали хворост и жерди, поверх жердей — доски настила в две колеи, и всё это примораживали к основанию, поливая водой из ведёр.

За пять суток створ подняли с тридцати одного сантиметра до пятидесяти двух.

Проверял его командир сапёрного батальона лично: ходил по створу с ломом и с рейкой, бурил контрольные лунки через каждые двадцать метров и в двух местах забраковал.

На эти два места положили дополнительный настил из шпал.

— Пойдёте по одной, — сказал он Родину. — Интервал пятьдесят метров. Скорость десять километров в час, ровно, без остановок и без переключений на лёду. Люки открыть. Экипажи наверху.

— Почему наверху?

Сапёр посмотрел на него.

— Потому что если провалится, то из машины никто не выйдет, — произнес он. — А сверху прыгнуть можно. Иногда.

Переправа началась в три сорок.

Родин пошёл третьим, за двумя машинами первой роты, и переходил сидя на башне, свесив ноги в люк, как переходили все.

Ощущение было такое, что запоминается на всю жизнь.

Лёд под тридцатьчетвёркой не трещит. Он делает другое: он прогибается. Под гусеницами идёт волна — невидимая, но её слышно, потому что настил впереди машины чуть приподнимается, а сзади оседает, и вода в контрольных лунках по краям створа поднимается и опускается, как в дыхании.

Двести двадцать метров на десяти километрах в час — это семьдесят девять секунд.

Родин их не считал. Считал Антипов, из первой машины, и потом сказал, что вышло восемьдесят три, потому что Ковальчук шёл осторожнее приказанного.

К пяти часам перешли восемь машин из двенадцати.

Начинало сереть.

Рассвет означал авиацию, а авиация над ледовой переправой означала конец переправы: одна бомба в стороне от створа ломает лёд на тридцать метров вокруг, и восстанавливать это трое суток.

Оставались четыре машины и минут сорок темноты.

Четыре машины при интервале пятьдесят метров и скорости десять — это, с разгоном и с выходом на берег, около двенадцати минут на каждую с учётом того, что следующая не входит на лёд, пока предыдущая не сойдёт.

Сорок восемь минут. Восьми не хватало.

Родин посчитал это дважды и сократил интервал до тридцати.

Он сделал это не сгоряча. Он посчитал: тридцать метров при равномерном движении означает, что на льду одновременно находятся две машины на удалении тридцати метров друг от друга, то есть шестьдесят две тонны на участке в тридцать метров вместо тридцати одной.

Створ был поднят до пятидесяти двух сантиметров при потребных сорока.

Запас составлял двенадцать сантиметров, то есть тридцать процентов.

Он решил, что тридцати процентов хватит, и на бумаге это было верно.

На бумаге не было того, что лёд работает плёнкой на воде, а не балкой, и что две сосредоточенные нагрузки, идущие в тридцати метрах одна за другой, дают наложение прогибов, а не сумму.

Он этого не знал.

Он был инженер-конструктор по сельскохозяйственным машинам, и расчёта ледовых переправ не проходил никогда, и человек, который его проходил, стоял в двадцати шагах и сказал: интервал пятьдесят.

Одиннадцатая машина ушла под лёд в пять сорок восемь.

Она шла предпоследней и прошла две трети створа. Родин, стоявший на западном берегу, увидел, как её нос вдруг клюнул вниз — плавно, будто она съезжала с пригорка, — и как настил впереди неё встал горбом и лопнул.

Дальше это заняло секунд восемь.

Машина села носом, задрала корму, и вода пошла через открытые люки сразу. Двое, сидевшие на башне, спрыгнули на лёд и откатились. Механик выскочил из своего люка по пояс, и его вытащили за руки.

Заряжающий сидел внутри.

Он сидел внутри, потому что был из последнего пополнения и потому что во время движения по льду решил проверить укладку, и об этом никто не знал, пока машина не начала уходить.

Его звали Тимохин. Ему было двадцать лет.

Машину не достали ни в марте, ни в апреле. Её подняли в июне, после ледохода и спада воды, аварийно-спасательной партией, и тело было в ней.

Родин присутствовал при подъёме, потому что специально попросил, чтобы его известили.

Сапёрный подполковник разбирался с ним в тот же день, двадцать шестого февраля, на западном берегу, и разбирался коротко.

— Интервал был какой?

— Пятьдесят.

— А шли?

— Тридцать. Я сократил.

Подполковник помолчал.

— Вы понимаете, что вы сделали?

— Понимаю.

— Нет, — сказал он. — Вы понимаете арифметически. Я вам объясню физически. Он присел на корточки и начертил на снегу прутиком две ямки рядом.

— Лёд под грузом прогибается. Прогиб идёт чашей, радиус чаши при вашем весе — метров двадцать пять. Две машины на тридцати метрах — это две чаши, которые накладываются краями. В месте наложения прогиб больше двойного, потому что лёд там уже растянут. Вот и всё.

Он встал и отряхнул колени.

— Об этом написано в наставлении. Вы его не читали, и я вас за это не виню: вы танкист. Виню я вас за другое. Вы спросили у меня интервал, я вам его дал, и вы его переменили, не спросив второй раз.

Родин молчал.

— Восемь минут, — сказал подполковник. — Вы сэкономили восемь минут.

Он ушёл.

Родин потом всю войну и всю жизнь возвращался к этим восьми минутам и всякий раз упирался в одно и то же место.

Решение было принято правильно по всем правилам принятия решений. Он оценил риск, посчитал запас, сопоставил с угрозой — рассвет и авиация были реальной угрозой, и потеря створа стоила бы дивизии трёх суток.

Ошибка была не в решении.

Ошибка была в том, что он посчитал сам там, где рядом стоял человек, который считал это профессионально, и не задал ему один вопрос, который занял бы пятнадцать секунд.

Он записал в клеёчатую тетрадь: «Не пересчитывать за специалистом. Спрашивать заново».

Он писал это не в первый раз. Похожая строчка стояла у него с сорок третьего года — про горбыль в аппаратах, — и он тогда думал, что понял.

Тимохина Родин помнил плохо и за это ругал себя отдельно.

Тот пришёл в батальон в декабре, в Заречье, с последним пополнением, и за два месяца ничем себя не обозначил: работал ровно, не выделялся, разговаривал мало. В субботнем списке Родина против его фамилии стояли три вещи, записанные в январе: «Двадцать лет. Курский. Мать и две сестры».

Больше он про него не знал.

В тонкую тетрадь он записал: «Тимохин, заряжающий. Двадцать лет, курский. Полез проверять укладку на льду».

Он подержал карандаш и приписал ниже, отдельной строкой:

«Интервал сократил я».

Такого он не писал за войну ни разу и потом не жалел.

Рогачёв взяли двадцать четвёртого февраля, за двое суток до их переправы, и взяли без них.

Батальон вводили уже за реку, на расширение плацдарма, и первые бои он вёл на западном берегу, в междуречье Днепра и Друти, на местности, которая после Полесья казалась почти удобной: холмы, перелески, деревни через три-четыре километра.

Первый бой на западном берегу батальон принял двадцать восьмого февраля у деревни на реке Друть.

Он был короткий и обыкновенный: немец держал деревню ротой с двумя орудиями, дивизия обходила её с двух сторон, батальон работал по огневым точкам с восьмисот метров.

Родин потерял в нём одного человека и запомнил его по причине, к бою отношения не имеющей.

Это был наводчик третьей машины, сержант Дуленко, тридцати четырёх лет, из Полтавской области, освобождённой прошлой осенью. Его убило осколком в открытый люк.

В кармане у него нашли, кроме документов, свёрнутую вчетверо бумагу — справку сельсовета о том, что дом его в селе сожжён, что семья в наличии не значится и что справка выдана для представления по месту требования.

Справка была выдана в декабре сорок третьего.

Он два месяца носил её при себе и никому не показывал, и в батальоне об этом узнали только теперь.

Родин записал его в тетрадь и потом полдня думал о том, сколько ещё таких бумаг лежит по карманам в его батальоне и о скольких он не знает.

Выяснять он не стал.

Спрашивать человека, что у него в кармане, нельзя. Захочет — скажет сам.

Наступление продолжалось до первых чисел марта и выдохлось.

Оно выдохлось по причине, которую в донесениях называли усилением сопротивления противника, а на местности звали прощом.

Началась распутица.

Весна сорок четвёртого пришла в Белоруссию в первых числах марта и пришла так же, как зима, — вся сразу.

За неделю сошёл снег. За вторую неделю сошёл лёд. Днепр вскрылся девятнадцатого марта, снёс две ледовые переправы, которых к тому времени было четыре, и поднялся на четыре с половиной метра.

Всё, что было дорогой, перестало ею быть.

Родин к этому времени видел три распутицы — осеннюю сорок первого, осеннюю сорок третьего и эту, — и эта оказалась хуже обеих.

Причина была в том, что здесь не было камня.

В Белоруссии под пахотным слоем лежит песок и суглинок, и на суглинке в апреле образуется то, чему в русском языке нет точного слова: ни грязь, ни болото, а вязкая масса, которая держится на колесе, не отваливается и увеличивает вес всего, что по ней движется.

Тридцатьчетвёрка набирала на себя за километр хода до полутора тонн этой массы.

Её сбивали лопатами на стоянках. Она набиралась снова.

Наступление встало по всему фронту, и встало не потому, что не хватило воли. Оно встало потому, что снаряды к орудиям возили на руках.

С середины марта до середины мая батальон Родина не сделал ни одного выстрела.

Два месяца стояния Родин потом называл самой полезной частью своей войны.

Он говорил это редко и говорил без всякой иронии.

За эти два месяца произошло следующее.

Батальон впервые с сорок первого года получил время на настоящую учёбу. Не слаживание перед операцией и не натаскивание пополнения между боями — нормальную учёбу: по восемь часов в день, по программе, с разбором и с повторением.

Родин написал эту программу сам, за три вечера, и написал её так, как пишут технологическую карту.

Он выписал из клеёночной тетради всё, что накопил с апреля сорок третьего.

Дистанцию по тяжёлым машинам определяет наводчик по шкале, и только он. Два выстрела с позиции — потолок. Запасная позиция в двухстах метрах, не ближе. Три прохода в минном поле вместо одного. Вторая и предпоследняя машины в колонне идут со стволом на девяносто. В посёлке без пехоты не двигаться, стены дают чувство укрытия и отнимают свободу. На просеке одна машина впереди равна одной машине; вторую не посылать. Аппарели

в песчаном грунте облицовывать сразу. Проходимость низин проверять заново после каждых трёх суток мороза.

Не пересчитывать за специалистом.

Получилось двадцать три пункта.

Он размножил их от руки в восьми экземплярах — по числу командиров машин — и заставил выучить наизусть, и через две недели проверял, вызывая по одному и требуя назвать любой пункт по номеру.

Молодые сначала считали это блажью.

К маю перестали.

Учёба шла в основном на местности, потому что боеприпасов на учебные стрельбы давали по три выстрела на экипаж в месяц.

Работали вхолостую: доворот, наводка, щелчок спуска, крик заряжающего. Родин к этому за три года привык и научился извлекать из этого пользу.

Он гонял экипажи на время.

Норматив на выстрел с короткой остановки, от команды до спуска, он к маю довёл в лучших экипажах до девяти секунд, в средних — до тринадцати. В сентябре сорок третьего среднее по батальону было девятнадцать.

Он гонял их на смену позиции: от команды до полного выхода из капонира задним ходом с двумя поворотами — сорок секунд, и это отрабатывали ночью, вслепую, до автоматизма.

Он гонял механиков на ремонт в поле: замена трака, замена пальца, натяжение гусеницы, снятие и постановка катка. Эти занятия вёл Ковальчук и вёл их зверски.

И отдельно, два раза в неделю, Родин выводил батальон на местность и требовал того, чего в программе не было.

Он ставил задачу и спрашивал решение с каждого командира машины отдельно.

Вот перед вами лощина, справа лес, слева высота. Противник — два орудия и вкопанный танк, положение неизвестно. Что делаете?

Первый месяц отвечали плохо: уставными формулировками, потому что уставные формулировки безопасны.

Родин каждый раз спрашивал одно и то же. А конкретно? Где встанете? Куда отойдёте? Кто вас прикроет? Что будете делать, если ударят слева?

К маю отвечали.

В этом и состояло, по его мнению, всё различие между батальоном, который несёт потери, и батальоном, который их не несёт: думает командир машины сам или ждёт команды.

Ждать команды в бою — значит опоздать ровно на те три секунды, которых не хватает.

Второе, что дали два месяца, — люди узнали друг друга.

Батальон третьего формирования собрался в сентябре, и с сентября по март он воевал, шёл, копал и мок, и Родин к марту знал в лицо всех, а по голосу в темноте — человек двадцать из шестидесяти одного.

За два месяца он выучил всех.

Он ходил и разговаривал по своему субботнему правилу и к маю мог сказать про каждого не меньше трёх вещей, кроме фамилии, и записал это себе на отдельные листки, и листки эти носил в планшете до конца войны.

Третье — техника.

Ремонтники за март и апрель перебрали всё. Ковальчук ходил по батальону как хозяин и в апреле получил наконец должность — его провели заместителем командира роты по технической части, что было неправильно, потому что он не имел звания, и что Родин пробил через бригаду с третьего раза.

Звание ему присвоили в мае. Старшина технической службы.

Ковальчук отнёсся к этому спокойно и сказал одно:

— Оклад бы к нему.

Оклад полагался, и его тоже дали, и Ковальчук в первый же месяц отправил его по аттестату сестре жены в Киров, потому что адреса самой жены не было, с припиской: пусть лежит.

Ответ из Чрезвычайной комиссии пришёл в апреле.

Он был на бланке, отпечатан типографски, с пропусками, заполненными от руки, и по этому бланку было видно, что таких рассылают тысячами.

Комиссия сообщала, что учёт советских граждан, насильственно вывезенных на территорию Германии и оккупированных ею стран, ведётся; что сведений о гражданке Ковальчук М. И., 1901 года рождения, и её детях по состоянию на март 1944 года не имеется; что запрос принят к учёту и что о результатах будет сообщено дополнительно.

Внизу стоял номер дела.

Ковальчук посмотрел на этот номер дольше, чем на всё остальное.

— Дело есть, — сказал он.

— Есть.

— Значит, они где-то в бумагах уже числятся.

Родин не стал объяснять, что номер дела означает только то, что зарегистрировали его запрос. Он посмотрел на человека и решил, что не станет.

Ковальчук переписал номер в записную книжку, потом в другую, потом — Родин узнал об этом позже — нацарапал его гвоздём на внутренней стороне крышки жестяной коробки из-под монпансье.

Коробка к этому времени два месяца как не пополнялась. Класть в неё было нечего: фронт стоял.

Письма из Хренового стали приходить каждые три недели.

Порядок, заведённый в январе, держался: по воскресеньям Сёмин с Витькой садились в углу, Сёмин говорил, Витька писал. Ответы шли теперь быстро, потому что номер полевой почты второй месяц не менялся.

В марте пришло сразу два — от жены и от Кати.

Катино было написано на тетрадном листе в косую линейку и написано без единой ошибки, и Сёмин это первым делом проверил.

Она писала, что учится в пятом, что весной их класс будет работать в колхозе, что бабы говорят, будто в этом году дадут трактор, и что мама плакала над папиным письмом.

И спрашивала, правда ли, что папа теперь пишет сам.

Сёмин прочитал этот вопрос и полдня ходил молча.

Вечером он подошёл к Витьке.

— Слушай. А выучиться-то можно?

— Чего выучиться?

— Писать. Не диктовать, а самому.

Витьке было семнадцать, и он не понял, в чём затруднение.

— Так вы же умеете. Вы читаете.

— Читать — одно, — Сёмин посмотрел на свои руки. — А писать — рука не идёт. Она у меня к другому приучена.

Учились с апреля, по вечерам, тайно от всех, кроме Родина, который узнал случайно и сделал вид, что не узнал.

Витька разлиновывал ему листы, писал сверху строчку прописью и заставлял повторять. Сёмин выводил буквы медленно, крупно, с нажимом, и на третий вечер сломал два карандаша.

К маю он выводил связно.

Первое письмо, написанное им самим от начала до конца, ушло в Хреновое в конце мая. Оно было на полторы страницы, и Витька его не проверял, потому что Сёмин не дал.

Ответ пришёл в июле, уже под Бобруйском, и в нём была одна строчка, которую Сёмин никому не показал и над которой сидел вечер.

Родин увидел эту строчку случайно, через полгода, при других обстоятельствах, и запомнил её дословно.

«Ваня я твою руку узнала».

Т-34-85 пришли в батальон девятого мая.

Их было три, и они пришли своим ходом с распределительного пункта, и весь батальон вышел смотреть, как они втягиваются в расположение.

Родин обошёл первую кругом и остановился у башни.

Башня была другая. Она была больше и выше — литая, просторная, с командирской башенкой и с тремя членами экипажа внутри вместо двух: командир, наводчик и заряжающий.

Командир теперь только командовал.

Три года — с октября сорок первого — Родин сидел в башне, в которой командир одновременно был наводчиком, и три года на каждом выстреле выбирал между тем, чтобы стрелять, и тем, чтобы смотреть за боем. Он привык к этому настолько, что перестал считать это неудобством.

Теперь неудобства не стало.

Он влез внутрь и просидел там час, крутя головой в башенке, и вылез с тем же чувством, с каким вылезал в августе сорок третьего из первой самоходки Гаврилова.

Ствол был восемьдесят пять миллиметров.

Он прошёл вдоль него шагами и постоял у дульного среза.

Из этой пушки тяжёлый берётся в лоб с километра. Не в борт, не с двухсот сорока, не при условии, что он поедет и повернётся, — а в лоб, с километра, с первого выстрела при нормальном попадании.

Он вспомнил фанерный макет на выгоне за курской балкой, обмазанный глиной, чтобы не светился. Плетень и жерди, труба от молочарни, жестянка от кровельного железа.

Он вспомнил, как объяснял Гладышеву, что двадцать секунд, подаренные одним выстрелом в лоб, стоят машины.

С мая сорок четвёртого это переставало быть правдой.

Он не испытал ни торжества, ни облегчения. Он испытал ту же тяжесть, что и в августе у самоходки, и на этот раз назвал её сразу, не откладывая на неделю.

Она называлась так: это могло быть в сорок втором.

Три машины на батальон — это было немного. Родин отдал их в первую роту, целиком, и три недели гонял её отдельно от всех, потому что новая машина требовала другой работы: другая укладка, другие темпы, другой командир, которому теперь надо было учиться смотреть, а не стрелять.

Остальные девять были тридцатьчетвёрки с семидесятишестимиллиметровой.

Он расписал взаимодействие так: восемьдесятпятые работают по тяжёлым и по самоходкам с предельных дистанций, семидесятишестимиллиметровые — по средним, по пехоте и по огневым точкам, и в тесноте.

Эта схема продержалась до Берлина с одной поправкой, которую внесла жизнь в июле.

В апреле пришло письмо от матери, и в нём была новость.

Она писала, что в Малые Ключи вернулись двое, и один из них — Митя, сын соседки Варвары, тот самый, что был без вестей с августа сорок второго.

Митя был в плену.

Он попал под Сталинградом, работал в Донбассе на шахте, бежал осенью сорок третьего при отступлении, полгода прятался и вышел к своим. Его проверяли четыре месяца, отпустили домой на два месяца по состоянию, а после — снова в армию.

Мать писала об этом четыре страницы.

Как Варвара шла по улице от края до края и не могла дойти, потому что её останавливали в каждом дворе. Как Митя сидит и почти не разговаривает и ест мало. Как Варвара всем говорит одно и то же: «А я ведь ждала. А мне говорили — не жди».

В конце было приписано: «Алёша я к чему это тебе пишу. Ты своему товарищу который жену ищет скажи что бывает. Бывает Алёша».

Родин прочитал это дважды и в тот же вечер пошёл к Ковальчуку.

Пересказывать своими словами он не стал — дал прочитать саму страницу, потому что чужое письмо своими словами не пересказывают.

Ковальчук прочитал и вернул.

— В плену — это другое, — произнес он. — Плен в списках есть. Пленных считают.

— Считают.

— А угнанных не считает никто, — он помолчал. — Вы матери спасибо скажите. Я понимаю, что она хотела.

Больше он об этом не заговаривал, и Родин потом так и не решил, помогло это или сделало хуже.

Матери он всё-таки написал, что письмо передал.

В мае в Белоруссии стало тихо так, как не бывало с сорок первого года.

Тишина эта была особого сорта, и Родин к сорок четвёртому году уже умел отличать её от паузы.

Фронт стоял. Артиллерия работала по расписанию. Авиация ходила мало. Немец на той стороне копал и не высывался.

А в тылу шло движение, которого не видел никто и о котором знали все.

Ночами по дорогам, восстановленным за апрель, шли колонны. Днём дороги были пустые. На станциях выгружались эшелоны, разгружались за два часа и уходили порожняком. В лесах западнее Гомеля появились районы, куда не пускали никого без пропуска особого образца.

Родин в конце мая ездил в бригаду и по дороге насчитал в одном лесном массиве три артиллерийских полка, которых там не было в апреле.

Он никому об этом не сказал, включая начальника штаба.

Двадцатого мая батальон получил приказ, в котором не было ни слова о задаче.

Приказывалось: совершить марш в новый район сосредоточения, семьдесят четыре километра, тремя ночными переходами, с полной светомаскировкой; днём в движение не входить ни при каких обстоятельствах; в новом районе машины укрыть и замаскировать в течение двух часов после прибытия; радиостанции опечатать и в эфир не выходить; переписку прекратить.

Последнее было новым.

Переписку прекращали перед большими делами, но Родин за три года видел это дважды.

Он объявил это батальону вечером двадцатого, и объявил как есть: почты не будет, писать нельзя, сколько это продлится — не знаю.

Люди приняли молча.

Потом Сёмин подошёл к нему один.

— Товарищ майор. А вот у меня письмо написано и заклеено. Сегодня утром закончил.

— Отдай старшине. Он положит в коробку и отправит, когда разрешат.

— А если не...

— Отправит, — перебил его Родин.

Сёмин подумал и отдал.

В ночь на двадцать первое батальон вышел на север.

Родин стоял в люке новой машины — он взял себе одну из трёх восьмидесятипятых, потому что комбату полагалась лучшая связь, а на них стояла другая радиостанция.

Дорога шла лесом.

По обочинам, в темноте, через каждые полкилометра стояли регулировщики, и это само по себе говорило многое: регулировщиков через полкилометра ставят там, где по дороге за ночь должна пройти дивизия.

На третьем часу марша их обогнала колонна.

Она шла встречным курсом на обгон, по левой стороне, тяжело и медленно, и Родин сначала по звуку решил, что это тягачи с орудиями большой мощности.

Потом он разглядел силуэты.

Это были не орудия.

Восемь машин прошли мимо в темноте, одна за одной, и каждая была ниже тридцать-четвёрки и заметно длиннее, с длинным стволом и с широкими гусеницами, и звук у них был низкий и незнакомый.

Родин проводил их глазами и обернулся к Антипову, ехавшему на броне.

— Видел?

— Видел.

— Что это?

Антипов помолчал.

— Это, товарищ майор, я вам скажу через неделю, — произнес он. — Но восемь их было. Я посчитал.

Конец второй главы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.